

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН  
О ДЕПОРТАЦИИ КАЛМЫКОВ,  
ПАМЯТИ СЕМЬИ И ЗЕМЛЕ,  
У КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО ОТНЯТЬ ИМЕНА

# НИИЦЭН



Джиргала.  
Я ницэ.

ОКСАНА ВОЛКОВА

Оксана Волкова

**Ниицэн**

«Автор»

2026

**Волкова О.**

Ниицэн / О. Волкова — «Автор», 2026

В декабре 1943 года двенадцатилетнего Бадму и его маленькую сестру Джиргалу вместе с семьёй увозят из родного калмыцкого села Ниицэн. В товарном вагоне начинается дорога, после которой их жизнь уже никогда не станет прежней. Сибирь отнимает у детей дом, привычный мир и слишком многое из того, что должно принадлежать детству. Бадме приходится рано взрослеть и отвечать не только за себя, но и за сестру. Спустя десятилетия Алдар приезжает туда, где когда-то стоял Ниицэн. Старые письма, семейное молчание и несколько сохранившихся следов ведут его к истории мальчика и девочки, которых однажды увезли отсюда. «НИИЦЭН» — исторический роман о депортации калмыцкого народа, семье, памяти и земле, у которой невозможно отнять имена. Ниицэн — калмыцкое название села; в русской речи Ницан.

© Волкова О., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ГЛАВА 1. НИИЦЭН                   | 6  |
| ГЛАВА 2. ЛИСТ                     | 12 |
| ГЛАВА 3. БУГОР                    | 17 |
| ГЛАВА 4. КОЛОННА И СТАНЦИЯ        | 23 |
| ГЛАВА 5. ПОЧЕРК                   | 29 |
| ГЛАВА 6. ПОГРУЗКА                 | 33 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

# Оксана Волкова

## Ниицэн

*Тем, кого увезли с родной земли.*

*Тем, кто вернулся. И тем, кто не смог вернуться.*

*Народу, который сохранил память о доме, даже когда самого дома уже не было.*

*И земле, которая ждала.*

## ГЛАВА 1. НИИЦЭН

28 декабря 1943 года.

Бадма проснулся от стука в дверь.

Стучали не костяшками, а чем-то плоским и тяжёлым, ладонью или прикладом, и дерево отзывалось глухо, как отзывается мёрзлое. В комнате было темно и очень холодно — печь дотлела ещё до полуночи, и тот тонкий слой тепла, который держался у самого пола под кошмой, к утру ушёл совсем. Бадма лежал, натянув одеяло до глаз, и слушал, как отец в темноте нашаривает костыль, как костыль стучает о край лежанки, как мать говорит негромко и очень спокойно: «Сейчас», — и это её «сейчас» было обращено не к тем, кто стучал, а к отцу, чтобы он не торопился и не упал.

Потом мать зажгла лампу, и стало видно, что стекло в окне заросло инеем изнутри, толстым и лохматым, и что от дыхания в комнате стоит пар.

Дверь открылась.

Холод вошёл сразу весь, целиком, как вода. Их было трое. Двое остались на пороге, а третий шагнул внутрь и остановился, не снимая шапки, и от его тулупа пахло улицей, ремнём и махоркой. В руке он держал сложенный вчетверо лист. Он развернул его, поднёс ближе к лампе и прочёл фамилию — не всю семью, а только фамилию, будто этого было достаточно, — и посмотрел поверх бумаги.

— Собирайтесь.

Мать стояла босая на глиняном полу, в наброшенном на плечи тулупе, и держалась рукой за спинку кровати.

— Куда?

Человек с бумагой посмотрел на часы.

— Двадцать минут.

Дальше всё двинулось разом. Отец сел, вытянул вперёд здоровую ногу и стал натягивать штанину; пустая была подвёрнута и заколота, и он поправил её привычным движением. Мать сдёрнула с гвоздя мешок. Очир проснулся сразу, как просыпаются подростки, — весь, целиком, — и уже стоял, и голова его почти доставала до балки, и он тёр ладонью красное со сна ухо. Мерген пришёл из сеней, где спал, и стал левой рукой застёгивать на Очире тулуп, потому что у Очира не попадали пальцы; пустой правый рукав был, как всегда, заправлен за пояс. Мерген делал это молча. Это и было странно: обычно он не молчал.

Джиргала села на постели, держась за косичку, и посмотрела на всех сразу.

Бадма стоял посреди комнаты со штанами в руках и не мог попасть ногой. Руки у него были чужие. Он смотрел на открытую дверь, в чёрный прямоугольник двора, где по краю крыши тянулась стреха, а под стрехой белело прошлогоднее ласточкино гнездо, забитое снегом. Ласточки улетели в конце августа. Гнездо было пустое с тех пор.

И тогда Бадма вспомнил другой день.

\* \* \*

Осенью в соседнем дворе, у Горяевых, играли свадьбу.

День был тёплый, из тех, что случаются в конце сентября и которые потом невозможно отличить один от другого. Земля во дворе ещё не промёрзла, трава у плетня держалась зелёной, а от ильменя тянуло водой и тем сухим шорохом, какой бывает, когда ветер идёт по подсохшим верхушкам камыша. Солнце стояло низко и било прямо в лицо, и Бадма, выходя со двора, зажмурил левый глаз и так, вполглаза, увидел всю улицу до самого поворота, и людей, идущих к Горяевым, и дым, который шёл не вверх, а вбок.

Идти было недалеко — три двора, — но в этот день дорога заняла много времени, потому что все шли одновременно и все останавливались.

Бадма шёл первым, потому что Джиргала бежала впереди и её надо было держать в поле зрения. Мать шла позади, неся закрытое полотенцем блюдо на согнутой руке. Отец шёл последним, и по тому, как костыль его вминался в тёплую пыль, было слышно, где он находится, даже не оборачиваясь.

У Манджиевых старик сидел на пороге и колотушкой отбивал косу — не потому, что коса была нужна сегодня, а потому, что он отбивал её каждую осень в это время, и звук был такой же обычный, как петух. Он поднял руку, отец поднял свою. Больше они ничего друг другу не сказали.

Дальше по улице стояла корова, которую не увели на выпас, и смотрела на всех проходящих подряд, поворачивая голову. За ней, во дворе, кто-то громко звал через всё пространство: «Санджи-и!» — и было непонятно, нашёлся Санджи или нет. Женщина обогнала их, прижимая к себе что-то тёплое, завёрнутое, на ходу сказала матери три слова, и мать ответила ей одним, и обе засмеялись, а Бадма не понял, чему.

Между двумя дворами открывался просвет, и в нём стояла вода. Ильмень был серый и гладкий, и над ним ходил ветер, потому что камыш у берега шевелился, а вода нет. Бадма посмотрел туда дольше, чем нужно, и Джиргала успела убежать за поворот.

\* \* \*

Пахло сразу всем. Варёным мясом, тестом, кипящим жиром, дымом кизяка, коровами, пылью, сохнувшей травой. Пахло так плотно, что Бадма чувствовал этот запах во рту.

Во дворе у Горяевых поставили столы прямо на земле. Над двумя котлами стоял пар. Женщины ходили с мисками, и одна из них, проходя мимо, сунула Бадме в руку горячий борщ, а он даже не успел сказать спасибо, потому что она уже была у другого стола.

Старшие женщины сидели отдельно, у стены сарая, на разостланной кошме, и к ним подходили. Они не вставали и не носили мисок; им приносили. Одна из них держала на коленях чужого младенца и качала его, не глядя, продолжая разговор, и по тому, как она его держала, было ясно, что за сегодняшний день он у неё не первый.

Кто-то пришёл поздно — уже когда все сидели, — и во дворе сделалось движение: подвинулись, нашли место, кто-то встал и уступил, кто-то принёс скамью из-за угла, и человек долго отказывался, а потом сел. Его спрашивали, почему он поздно. Он объяснял. Объяснение было длинное и, судя по лицам, всем известное заранее.

Дети носились между столами так, что взрослые уже перестали делать замечания и просто придерживали миски, когда мимо проносило.

Молодые сидели в глубине двора, на самом видном месте, и им было хуже всех. Бадма это понял сразу. Жених сидел очень прямо, положив руки на колени, и время от времени поправлял ворот, который, видимо, был ему тесен. Невеста не поднимала глаз. Ей что-то говорили — по очереди, длинно, — и она кивала, не глядя на говорящего, а женщина рядом с ней всё время что-то поправляла на ней: то платок, то рукав, то опять платок. Один раз невеста подняла голову и посмотрела через двор — быстро, коротко, — и Бадма не понял, на кого.

Мясо раскладывали не как попало. Его раскладывали по какому-то порядку, который знали только старшие, и Бадма видел, как один старик что-то сказал другому и тот забрал миску и отнёс её в другую сторону, к третьему. Ему объясняли этот порядок уже дважды. Он его не помнил.

Речи были длинные. Говорили по очереди, вставая, и в каждой речи было место, после которого все начинали кивать, а Бадма к этому месту успевал отвлечься. Он посмотрел, как под столом собака ждёт кость. Он посчитал, сколько человек в шапках. Потом дети побежали

за сарай, и он побежал с ними, и они там играли во что-то бессмысленное, где надо было перепрыгивать через перевёрнутое корыто, и вернулись, когда речи кончились.

Мать стояла у котла и снимала пену. Она делала это широкой ложкой, коротко, точно, стряхивая пену в отдельную миску, и в промежутке между двумя движениями поправила запястьем платок — не отпуская ложки. Она попробовала джомбу с края, подумала, бросила туда кусок жира и добавила соли. Потом ещё раз попробовала.

— Иди сюда, — сказала она Бадме, не оборачиваясь.

Он подошёл. Она проверила пальцем край пиалы, подала её и сказала то, что говорила всегда:

— Горячий. Двумя руками.

Он взял двумя руками. Чай был солёный, жирный и такой горячий, что первые три глотка он сделал вслепую, а потом уже почувствовал вкус.

Отец сидел на низкой скамье у стены, вытянув здоровую ногу вперёд, и костыль лежал рядом так, чтобы можно было достать не глядя. Он чинил кому-то ремень уздечки — ему приносили чинить, потому что он делал это лучше всех в Ницане и потому что сидя это делать можно. Джиргала стояла возле него на одной ноге, как цапля, вторую подобрав под подол, и рассказывала ему что-то длинное и подробное, и он слушал, ни разу не переспросив.

— Помогать? — сказал Бадма.

— Кому?

— Тебе.

Отец посмотрел на него, потом на Джиргалу.

— Пока вы оба говорите, мне работы нет.

Джиргала засмеялась и чуть не упала со своей одной ноги.

Мать прошла мимо с пустой миской, остановилась, наклонилась и, ничего не сказав, перетянула узел на подвёрнутой штанине — он ослаб и висел.

Отец не поднял головы от ремня.

— Развязался ещё утром.

— Знаю.

— А чего тогда только сейчас?

— Ты бы и вечером не сказал, — ответила она и пошла дальше.

Отец затащил шов, откусил нитку и посмотрел ей вслед. Потом снова взялся за ремень.

У ворот стоял Очир с парнями. Он был уже выше отца на полголовы и не знал, куда девать руки, и оттого держал их то в карманах, то на поясе. Уши у него горели — они горели у него всё лето, обгорали, слезали и обгорали снова, и к осени стали кирпичного цвета. Он стоял так, чтобы видеть тот угол двора, где среди девушек была одна, и старательно туда не смотрел. А она в это время смеялась с другим парнем, запрокинув голову, и смех был слышен через весь двор.

Бадма подошёл к брату и ткнул его локтем.

— Чего стоишь?

— Отойди.

— Она смеётся.

— Отойди, я сказал.

Вечером Очир нашёл, к чему придраться — к тому, как Бадма сложил седёлку, — и говорил об этом долго и зло, и Бадма понял, что дело не в седёлке, и потому не стал отвечать.

Мерген подсел к отцу на скамью, потеснив его, хотя места хватало и так.

— Сиди-сиди, — сказал он. — Я на минуточку.

— Ты на минуту третий час.

— Я работаю, — сказал Мерген. — Я слежу, чтобы ты не переработал.

Отец не ответил. Он держал ремень зубами за один конец, чтобы натянуть, и потому ответить не мог, и Мерген это прекрасно видел, и потому продолжал говорить.

— Мать твоя опять пересолила, — сказал Мерген.

— Она не моя мать.

— Жена. Какая разница.

— Пойди скажи ей.

Мерген подумал.

— Нет, — сказал он. — Я лучше тут посижу.

\* \* \*

А днём принесли лох.

Мальчишки натрясли его с дерева за поворотом, у самой воды, и высыпали прямо на угол стола — мелкие, сухие, желтовато-серые ягоды с косточкой внутри. Джиргала набрала полную горсть и сунула в рот сразу три штуки. Лицо у неё сделалось такое, будто её обманули: рот светло, глаза стали круглыми, она замотала головой — и тут же протянула руку за следующей.

— Не сладкое, — сказала она с полным ртом, обвиняюще.

— Сладкое.

— Не сладкое!

И взяла ещё.

Борцоки лежали горой на большом блюде, и Бадма, проходя мимо, взял один, откусил и положил обратно надкушенным — не нарочно, а просто потому, что не подумал. Мать увидела это через весь двор.

— Бадма.

— Я не брал.

— Ты уже сказал неправду, — сказала она, — теперь скажи ещё раз, посмотрим, лучше получится или нет.

Он не стал говорить второй раз.

\* \* \*

Потом за столом стало тесно, и в этой тесноте Мерген начал рассказывать про корову.

Он рассказывал её, наверное, в сотый раз, и все, кто сидел рядом, знали её наизусть, и именно поэтому все замолчали и повернулись.

— Пошёл я ночью сети смотреть, — сказал Мерген и поставил пиалу на колено, прижав её локтем к груди, чтобы освободить руку. — Темно. Луны нет. Иду по берегу, всё как обычно. И вдруг в камыше — шум.

— Какой шум? — спросил кто-то с того конца стола, кто тоже знал, какой.

— Такой шум, — сказал Мерген, — какого в камыше не бывает. Я стою. Оно стоит. Я шаг — оно шаг.

Он сделал паузу ровно такой длины, какой было нужно.

— Ну, думаю, кабан.

— Кабан, — подтвердил кто-то.

— Потом думаю: нет. Кабан такой высоты не бывает. Кабан вот, — он показал ладонью у колена. — А это вот. — Ладонь пошла вверх — выше стола, выше плеча — и остановилась где-то на уровне его собственной макушки. В прошлый раз, Бадма помнил точно, она остановилась ниже.

За столом засмеялись.

— И стал я соображать, чем отбиваться, — продолжал Мерген. — А у меня удочка. Одна. И я подумал: хорошо всё-таки, что рука одна. Меньше терять.

Он сказал это спокойно, между делом, засмеялся первым, и стало видно щербину между передними зубами, и глаза у него были такие светлые, что казались в темноте почти без цвета.

— Отступаю, — сказал он. — Иду задом. И — в воду. Сапог там и остался. До сих пор, наверное, стоит.

— И тут... — начал он.

— Корова! — заорала Джиргала.

Стало тихо на секунду, а потом двор просто лёг. Смеялись все — и те, кто слышал эту историю сто раз, и та девушка у ворот, и Очир, который забыл, что стоит и не смотрит.

Мерген медленно повернулся к Джиргале и посмотрел на неё с глубоким, безнадежным укором.

— Вот всегда так, — сказал он. — Только соберёшься рассказать — обязательно кто-нибудь всё испортит.

Джиргала сияла.

Потом стало смеркаться, и заиграла домбра.

Айсу попросили не сразу и попросили не все — сначала кто-то один, потом второй, потом стали просить с того конца двора, где сидели старшие. Она отмахнулась.

— Пусть молодые поют.

Молодые не пели. Невеста сидела всё так же, не поднимая глаз, а жених смотрел в стол.

Айсу попросили ещё раз.

Она подождала, пока договорят, и запела.

Двор затих не сразу и не весь. Сначала перестал говорить один стол, потом другой; кто-то ещё что-то досказывал шёпотом, кто-то ставил миску, стараясь не стукнуть. Женщина у котла остановилась с половником в руке. Старик у плетня перестал сворачивать самокрутку и так и держал бумагу. Джиргала, сидевшая у матери на коленях, повернула голову на голос и открыла рот.

Айса пела не громко. Она сидела прямо, положив руки на колени, и смотрела чуть выше голов, и голос у неё был низкий и ровный, и он шёл поверх всего двора, поверх столов, поверх плетня — туда, где уже темнела вода.

Бадма сидел на земле, прислонившись спиной к тёплому от солнца боку сарая, и слушал, и в какой-то момент перестал слышать отдельные слова, а слышал только, как это звучит.

Расходились долго. Сначала попрощались и не ушли, потом ушли и вернулись, потому что забыли миску, потом стояли у ворот и договаривали то, что можно было договорить и завтра.

Когда они наконец пошли домой, было уже совсем темно.

Мать несла спящую Джиргалу — та обмякла у неё на плече, и одна косичка съехала матери на шею. Отец шёл медленно, и костыль его вминался в остывшую пыль. Очир шёл отдельно, шагах в десяти впереди, и по спине его было видно, что он всё ещё зол на седёлку, которая была ни при чём.

Где-то у крайних дворов лаяла собака, ей отвечала другая, потом третья, дальше, и так до самого края села, и было слышно, докуда оно доходит. Пахло дымом и остывшей землёй. Небо было огромное и всё в звёздах, и звёзды стояли до самой воды.

Мерген у калитки хлопнул Бадму по спине здоровой рукой.

— Иди уже, — сказал он, — а то я сейчас начну плакать.

Дома мать сначала уложила Джиргалу — расплела ей косички, не разбудив, и накрыла, — а потом сгребла угли к середине и придавила их, чтобы дожили до утра. В комнате стало красно и низко.

Заканчивать день сразу никому не хотелось, и поэтому все ещё немного посидели за столом: отец, мать, Очир. Мать разливала остатки джомбы. Отец пил и смотрел в пиалу.

Очир взял свою и, не глядя, подвинул Бадме кусок мяса, который отложил себе.

Это было всё, что он собирался сказать по поводу седёлки.

— Завтра, — сказал Бадма.

— Что завтра?

— Рыбу.

Очир усмехнулся и ничего не ответил.

\* \* \*

— Бадма.

Он обернулся.

Мать стояла посреди комнаты и держала в руках его тулуп — на весу, обеими руками, раскрытый. По тому, как она его держала, было понятно, что она стоит так уже некоторое время.

Он сунул руки в рукава. Мать застегнула ему верхнюю пуговицу сама, хотя он давно застёгивал сам, и на секунду задержала ладонь у его горла.

— Джиргалу одень, — сказала она.

Он повернулся к сестре. Джиргала сидела на постели, обе косички были ещё ночные, растрёпанные, и она смотрела на него снизу вверх и не плакала.

— Руки, — сказал Бадма.

Она подняла руки.

Человек с бумагой стоял у двери, не заходя дальше порога, и смотрел на часы.

Девятнадцать минут.

## ГЛАВА 2. ЛИСТ

Квартиру надо было освободить к июню.

Алдар приезжал по субботам. Дом был панельный, семьдесят четвёртого года, из тех, которые он умел читать с улицы, не заходя внутрь: по швам между блоками, по тому, как просела лоджия, по подъездному козырьку, который переделывали дважды и оба раза плохо. Он занимался такими домами по работе и знал про них больше, чем хотел бы знать про дом, где вырос.

В квартире было тихо. Не той тишиной, которая бывает ночью, а другой — дневной, когда за окном идут машины, где-то сверху сверлят стену, а внутри всё равно ничего не происходит. Холодильник он выключил ещё в марте. Батареи отключили в апреле, и с тех пор к вечеру становилось прохладно.

Он разбирал по системе, потому что так было проще. Три угла в комнате: выбросить, отдать, оставить. Угол «оставить» рос медленнее всех.

Посуда ушла в «отдать» почти вся. Одежда — вся. Книги он перебирал дольше, чем надо, потому что открывал их, а внутри были закладки — трамвайный билет, аптечный чек, обрывок газеты, — и каждый раз приходилось решать, что это: след или мусор. Он решил, что мусор, и всё равно складывал их в отдельную коробочку, а потом злился на себя за эту коробочку.

Мать умерла в конце марта. Всё, что можно было сделать быстро, он сделал за две недели, а потом квартира перестала поддаваться, и он начал приезжать по субботам.

Поддаваться перестало не всё сразу.

Сначала кончилось простое: вещи, которые ничьи, — старые кастрюли, банки, коробка от телевизора. Потом пошло то, что имело историю, и историю знал только он, и проверить её было не у кого.

В ванной висело полотенце.

Оно висело на своём крючке, сухое, сложенное вдвое, и он снял его в первую субботу, и подержал, и повесил обратно. Во вторую субботу снял и положил в «отдать». В третью достал из «отдать» и повесил на место, потому что стало неудобно мыть руки.

На кухне стояла банка с крупой, отсыпанной наполовину.

Он не знал, что с ней делать. Выбросить крупу, которую человек отсыпал себе на неделю вперёд, было нельзя ни в один из трёх углов, и он оставил её стоять, и она стояла всё это время, и он каждую субботу видел её и обходил.

Система работала на предметах.

Она переставала работать там, где предмет был не сам по себе, а вместо кого-то. Тогда угол выбирался и тут же отменялся, и Алдар начинал делать что-нибудь другое — мыть окно, разбирать балкон, — и через час обнаруживал, что окно и балкон он вымыл и разобрал, а решил ноль.

Он знал, как это называется.

На объектах это называлось «работать вокруг узла»: когда есть место, которое надо вскрывать, а вместо этого приводят в порядок всё вокруг.

\* \* \*

Коробку он снял с антресоли в четвёртую субботу.

Она стояла в глубине, за чемоданом и за свёрнутым ковром, и он узнал её сразу, ещё не спустив на пол. Обычная картонная коробка из-под чего-то, углы обмяты, на боку выцветшая надпись чужой типографии. Она стояла там семнадцать лет.

Мать привезла её из Элисты осенью две тысячи девятого, когда вернулась. Он это помнил не потому, что событие было заметное, а потому, что тогда сам помогал ей затаскивать вещи из машины, и эта коробка была самой лёгкой, и он ещё удивился, что в ней. Мать сказала: «Отцовское. Потом разберу».

Алдар поставил её на пол, сел рядом на корточки и посмотрел на неё, как смотрел на объекты перед началом работ.

Скотч на крышке потемнел и лопнул сам, вдоль, от старости. Его не разрезали. По краю крышки лежала ровная полоса пыли, не тронутая нигде.

Коробку не открывали ни разу.

Он подумал об этом спокойно и коротко, как думают о факте, а не о человеке. Мать привезла её и поставила. Потом было семнадцать лет, в которые она собиралась разобрать, а он собирался ей помочь.

Он сел на пол и прислонился к шкафу.

Коробка попадалась на глаза не раз и не два. Её снимали, когда меняли трубы и выносили всё с антресоли; снимали, когда перебирали зимние вещи; один раз она стояла в коридоре три недели, потому что шкаф отодвинули и обратно поставили не сразу.

Каждый раз её ставили назад.

Он помнил, как сам поднимал её туда в последний раз — года четыре назад, летом, — и как мать снизу говорила «левее», и как он спросил, что там, и она ответила: отцовское. И он не переспросил, потому что стоял на табуретке и держал коробку над головой, а когда слез, разговор уже был про другое.

Она её не прятала.

Это он теперь понимал точно: она не убирала её подальше, не делала вид, что коробки нет. Она просто каждый раз ставила её обратно, потому что в тот день было что-то, что нельзя отложить, а коробку — можно.

Она вообще всё делала сама.

Не потому, что не доверяла, — она не умела иначе. Когда у неё текло под мойкой, она вызывала мастера и стояла рядом всё время, пока он работал. Когда болела, шла к врачу одна и рассказывала потом уже с результатом. Когда Алдар приезжал и брался за что-нибудь, она через десять минут оказывалась рядом и говорила: дай я.

«Я сама» он слышал от неё всю жизнь.

Он слышал это столько раз, что перестал замечать.

И у неё был список.

Не написанный — она ничего не записывала, — а такой, который человек носит в голове и всё время передвигает: разобрать балкон, отдать швейную машинку, съездить к тётке в Тулу. Алдар знал его наизусть, потому что она проговаривала всё это вслух, каждый раз в одном и том же порядке.

Балкон она разобрала.

Машинку не отдала. К тётке не съездила. В верхнем ящике комода лежала недошитая наволочка. Нитка оставалась в игле, а игла была воткнута в ткань, как втыкают, когда отходят на минуту.

Коробка была в этом списке.

Она была в нём семнадцать лет и стояла не первой и не последней, между балконом и Тулой.

Он встал и отряхнул джинсы.

Он снял крышку.

\* \* \*

Внутри были бумаги.

Не сложенные в порядке, не подшитые — просто бумаги, лежащие стопками, как их когда-то сложили и больше не трогали. Сверху немного просело, картон в углу отсырел и покоробился, но не сильно. Он аккуратно вынул верхнюю стопку и положил рядом на пол.

Конверты. Много. Со штампами, с бледной лиловой печатью, некоторые надорванные сбоку, некоторые вскрытые ровно — ножом или, скорее, чем-то плоским. Обратные адреса были казённые, отпечатанные, с сокращениями, которые он видел в архивах: отдел, управление, район, область. Он не стал их читать. Он вообще не собирался сегодня ничего читать; он собирался понять, что это, и решить, в какой угол.

Он всё-таки посмотрел на штампы.

Не читая — только на даты, потому что даты в штампе стоят отдельно и видны сразу. Верхний был семьдесят четвёртого года. Следующий — шестьдесят первого. Дальше опять семидесятые, потом пятидесятые, потом снова шестидесятые.

Он положил три конверта рядом.

Между первым и последним было двадцать с чем-то лет, и это его остановило: он привык к папкам, в которых переписка идёт полгода, год, максимум три. Между бумагами было больше двадцати лет.

Он не стал считать точно.

Сосчитал бы за минуту — конвертов было немного, штампы читались, — но не стал.

Под конвертами лежали справки.

Их он перебрал уже медленнее — по привычке, потому что старую бумагу брал за края и всегда смотрел сначала на неё саму, а потом на текст. Бумага была старая, серая, с включениями. Машинописный шрифт с выпадающей буквой. Печати выцвели до розового.

Одна была не машинописная.

Она была написана от руки, чернилами, крупными отдельными буквами, и он посмотрел на неё дольше, чем на остальные, но читать не стал.

Он отложил её отдельно.

Дальше пошли бумаги, которых он не понимал совсем: тонкий лист с двумя графами, заполненными от руки; половина листа с обрезанным низом; бланк, где напечатанный текст занимал верхнюю треть, а остальное было пустым и там стояла одна короткая строка.

Он смотрел на них как на чертёж чужого объекта.

Всё было понятно по отдельности — форма, реквизиты, подпись, — и совершенно непонятно вместе; и он ловил себя на том, что ищет привычное: где здесь заказчик, где исполнитель, что было запрошено и что отвечено.

Ответы он различал уже с первого взгляда.

Эти ответы были короткие. Текст занимал четверть листа, остальное оставалось пустым, и по этому пустому месту казалось, что человеку ответили, ничего не сказав.

На третьей справке он остановился.

Не из-за того, что там было написано, а из-за одного слова в графе.

Большой Ницан.

Он смотрел на него дольше, чем нужно было, чтобы прочесть.

Ницан он знал всю жизнь. Ницан был местом, откуда дед. Про Ницан дед рассказывал всегда и охотно: про ильмень и про то, какая там вода осенью; про лебедей, которые поднимаются с шумом, потому что тяжёлые; про то, как ловили рыбу и как её потом упускали; про дерево, у которого осенью ягоды вяжут рот, и как надо есть, чтобы не свело; про кукушку, которую слышно с дороги к воде. Дед мог говорить про Ницан долго, и это всегда были хорошие истории, и они всегда были смешные или тёплые, а чаще и то и другое.

Но Алдар никогда не видел этого слова написанным.

И никогда не слышал, чтобы к нему прибавляли «Большой».

\* \* \*

Лист лежал ниже, между справками, сложенный вчетверо.

Без конверта.

Бумага была другая — не казённая, обычная, в едва заметную линейку, вырванная откуда-то, потому что один край был неровный. Он развернул её на весу, придерживая по сгибам, и сгибы разошлись легко: их складывали и раскладывали много раз.

Наверху стояло имя.

Джиргала.

Ниже, через пропуск, два слова:

Я ишу.

И всё. Ни даты, ни подписи, ни обращения, ни продолжения — остальная часть листа была пустой, и он машинально перевернул её, но и с той стороны ничего не было.

Пустое место он оценил профессионально.

Его было много: две строки сверху и весь лист под ними. Человек, который пишет коротко из-за бумаги, пишет мелко и до края; этот писал крупно и остановился, и оставил под написанным столько, что туда поместилось бы письмо.

Внизу, под словами, карандашом была проведена линия. Одна. Она шла слева направо, поднималась к середине пологим горбом и опускалась, и в конце карандаш немного смазало — то ли рукой, то ли временем.

Алдар посмотрел на эту линию профессионально, потому что иначе смотреть не умел: не рисунок, не чертёж, не подпись. Проведена медленно, с нажимом, без отрыва.

Он снова прочитал имя.

Джиргала.

Алдар никогда не слышал этого имени в семье. Ни на поминках, ни на обороте фотографии, ни в разговорах, которых он не должен был слышать и всё-таки слышал. Он знал, как звали прабабку, знал, что у деда была родня в Ставрополье, знал имена трёх двоюродных, с которыми виделся раз в жизни.

Джиргалу — ни разу.

Он попробовал сообразить, у кого спросить.

Это заняло секунд десять и кончилось ничем. Мать — в марте. Дед — семнадцать лет назад. Бабку он не помнил вовсе. Двоюродных, которых он видел один раз во дворе в две тысячи девятом, он почти не знал. Он даже не был уверен, кому из них звонить и помнят ли они вообще что-нибудь про деда.

Раньше он про это не думал.

Не думал в том смысле, в каком не думают о вещах, которые всегда есть: были родители, был дед, была родня в Ставрополье, была фамилия. Спросить всегда можно потом — и это «потом» существовало у него в голове как реальное место, куда он однажды придёт.

Оно кончилось вместе с матерью.

Он сообразил это не как горе, а как факт устройства: цепочка, по которой он мог бы задавать вопросы, оборвалась в марте, и он даже не заметил, когда именно это стало окончательным.

Он посмотрел на лист ещё раз.

Два слова и линия под ними. Человек написал их и сохранил лист. Теперь этого человека нет, а кто такая Джиргала и увидела ли она когда-нибудь эти слова, Алдар не знал.

\* \* \*

Рукавица лежала на самом дне, у стенки, и он сначала принял её за тряпку, которую подложили, чтобы бумаги не тёрлись о картон.

Она была большая, взрослая, тёмная от старости, свалявшаяся. Шерсть слежалась и стала жёсткой. На большом пальце было протёрто, и кто-то давно, ещё тогда, зачинил это место другой ниткой, толще и грубее.

Он посмотрел на зачинку.

Чинили не той ниткой и не тем швом: нитка была толще, и шов шёл поперёк, крупно, через край. Так чинят на ходу, тем, что нашлось.

Пары не было. Он проверил — вынул всё, что оставалось, и провёл рукой по дну.

Одна.

Алдар положил её на ладонь.

Он не знал, чья она и почему в коробке лежала только одна, и спросить было не у кого: мать умерла в марте, дед — семнадцать лет назад. Оставалось только положить её обратно.

Он положил её обратно.

А лист не положил.

Он выпрямился, постоял, потом отнёс лист в кухню и оставил на столе — просто потому, что стол был пустой и чистый, а на полу лежали бумаги.

Он так и не решил, в какой угол.

Лист не был ни «выбросить», ни «отдать», ни «оставить»; и он положил его отдельно от всех трёх, на стол, и этим отменил систему, по которой работал все эти недели.

Потом вернулся, надел крышку на коробку и переставил её в тот угол, где было «оставить».

Он попробовал работать дальше.

Взял с подоконника стопку — журналы, каталог мебели, программка какого-то концерта — и понёс в «выбросить»; и уже положив, вспомнил, что программку надо было посмотреть, потому что мать редко куда-нибудь ходила. Вернулся, достал, посмотрел. Концерт был позапрошлого года. Он подержал её и положил обратно в «выбросить».

Потом взял с полки книгу.

Открыл, вынул закладку — обрывок газеты, — и не смог решить, куда её; и держал в руке, пока не поймал себя на том, что держит.

Сверху сверлили.

Сверлили с самого утра, с перерывами, и он перестал это замечать ещё до обеда; а теперь заметил снова.

Он посмотрел на часы и не поверил.

Он думал, что просидел на полу минут двадцать. Вышло больше двух часов, а три угла остались почти такими же, как были утром.

Он сел на пол во второй раз.

Не к коробке — просто на пол, спиной к шкафу, там же, где сидел раньше.

За окном шёл дождь, мелкий и вялый, какой бывает в мае, когда он никому не нужен. Сверху всё ещё сверлили.

Алдар вымыл руки — от старой бумаги остаётся сухая пыль, которая держится на пальцах, — вытер их и постоял у окна.

Потом пошёл в кухню и прочитал ещё раз.

Джиргала.

Я ишу.

## ГЛАВА 3. БУТОР

Летом вставали рано, потому что позже было нельзя.

К девяти воздух уже стоял неподвижно, и всё, что нужно было сделать за день, полагалось начать до этого часа. Бадма просыпался от того, что во дворе гремело ведро, потом мычала корова, которой пора было идти со стадом, потом хлопала калитка, и уже после всего этого начинали кричать петухи — не первыми, как в книжках, а третьими, когда село и так не спало.

Под стрехой над дверью каждый год жили ласточки.

Гнездо было старое, надстроенное, серо-коричневое, и по весне они его подмазывали заново — таскали мокрую землю с берега маленькими комками, десятки раз в день. К середине лета из гнезда торчали раскрытые клювы и было слышно, как они пищат, тонко и все одновременно, каждый раз, когда над двором проносилась тень.

Джиргала могла стоять под гнездом сколько угодно.

— Мама, они опять едят.

— Они всегда едят.

— А почему им дают, а мне не дают?

— Тебе дали. Ты уже съела.

Джиргала подумала над этим и осталась стоять под гнездом.

Трогать его было нельзя. Это было единственное запрещение, которое она не нарушала.

До жары надо было наносить воды.

Это была его работа, и она была устроена так, что откладывать её не имело смысла: чем позже, тем тяжелее. Бадма всё равно откладывал. Он сходил один раз, поставил вёдра у двери, сел на порог и стал смотреть, как мать месит.

Она месила стоя, всем весом, и от этого качалась вся доска стола. Волосы у неё выбились, и она поправила их запястьем, не вынимая рук из теста. На запястьях и на предплечьях у неё была мука, и от этого руки казались светлее лица.

— Ещё два, — сказала она, не оборачиваясь.

— Я принёс.

— Ещё два.

Он принёс ещё два и сел обратно.

Телёнок стоял у изгороди, привязанный, и смотрел на всех очень внимательно и совершенно бессмысленно. Джиргала подошла к нему боком, вытянула руку, дотронулась до лба между глазами и тут же отдернула — потому что он мотнул головой и потому что он был тёплый и мокрый, — и сразу протянула руку обратно.

— Он лизнул.

— Он всех лижет.

— Он меня лизнул, — сказала она.

\* \* \*

К воде шли своей дорогой.

Бадма мог пройти её с закрытыми глазами и иногда действительно закрывал, проверяя: тело помнило, где начинается спуск, где под ногой пойдёт песок вместо пыли, где надо взять левее, чтобы не лезть через колючки. Джиргала шла сзади и наступала ему на пятки, потому что смотрела не под ноги, а по сторонам.

Сначала пришёл запах.

Он всегда приходил раньше самого дерева — сладкий, густой, тяжёлый, немного как мёд и немного как что-то ещё, для чего у Бадмы слова не было. Лох цвёл мелкими желтоватыми

цветками, которых почти не было видно, и весь смысл этого дерева был не в том, как оно выглядит, а в том, как оно пахнет за двадцать шагов.

Дальше стоял тамарикс, и он звучал.

Куст был весь в розовом, тонком, дымном, и над ним висел ровный густой гул. Джиргала остановилась.

— Не подходи, — сказал Бадма.

Она подошла и вытянула палец.

— Не трогай.

Палец остановился в ладони от розового. Она постояла так, потом убрала руку сама и пошла дальше, очень довольная собой.

Где-то в стороне, в деревьях, начала кукушка.

Бадма посчитал до семи и сбился, потому что уже видел воду.

Не доходя до берега, в самой гуще, у них было место.

Его нельзя было увидеть с дороги и почти нельзя было найти, если не знать. Камыш там кто-то вытоптал очень давно — может быть, ещё до них, может быть, скотина, — и получилась круглая проплешина шагов в пять, со всех сторон закрытая стеной, и над ней стояло небо ровным кругом.

Внутри лежали доска, старое ведро без дна и три кирпича.

Джиргала считала, что это её дом, и распоряжалась в нём соответственно. Доска была стол. Ведро было стул, но садиться на него было нельзя никому. Кирпичи меняли назначение каждый раз.

— Ты в гостях, — сказала она Бадме.

— Я знаю.

— Тогда сядь.

Он сел на кирпич, потому что на ведро было нельзя, и слушал, как она рассказывает, что у неё сегодня было, и в этом рассказе всё уже было не так, как было на самом деле, а гораздо лучше.

\* \* \*

Ильмень с утра был серебряный, а к полудню становился почти белым, и на него было больно смотреть.

Камыш стоял стеной, выше человека, и шуршал не отдельными стеблями, а весь сразу, множеством, и в этом шуршании тонули все остальные звуки. Пахло водой, илом, нагретой травой и той тёплой тиной, от которой першило в горле, если долго стоять на одном месте.

Джиргала нашла чакан.

Коричневые тугие головки к этому времени уже начинали пушиться сверху, и достаточно было сжать одну в кулаке и рвануть, чтобы всё вокруг заполнилось белым. Она разодрала сразу две, подняла руки и завизжала:

— Снег! Снег!

Пух повис в воздухе, потому что ветра не было, и оседал очень медленно, и садился ей на волосы, на плечи, на мокрый от воды подол. Она стояла в этом и хохотала.

Вода у берега была тёплая, как в ведре, простоявшем на солнце, а на два шага дальше становилась холодной снизу, и это было самое приятное: стоять так, чтобы ноги мёрзли, а плечи грелись.

Дно было илистое и мягкое, и оно уходило из-под ступни, если стоять на месте. Джиргалу дальше колена не пускали. Она заходила ровно по колено, останавливалась и оттуда громко объясняла, что она уже большая.

Бадма нырнул и открыл под водой глаза. Смотреть было не на что: жёлто-зелёная муть, в ней столбы солнца и близко-близко — стебли камыша, уходящие вниз, обросшие чем-то мягким. Он вынырнул, отфыркался и услышал, что Джиргала всё ещё объясняет.

С другого края, за камышом, поднялись лебеди.

Их было три. Они шли по воде долго и тяжело, ударяя крыльями, и вода под ними шумела, как будто там кто-то бил в неё доской; потом они всё-таки оторвались, и шум прекратился сразу, и стало слышно, как далеко на буграх кто-то кричит на лошадь.

На берегу, чуть в стороне, сидел Мерген.

Перед ним на траве была растянута сеть, и он её перебирал — медленно, кусок за куском, выпутывая из ячеи траву и мелкий мусор. Делал он это одной рукой, и было видно, как это устроено: сеть он прижимал коленом, а там, где нужно было держать в двух местах сразу, брал зубами.

Бадма постоял и присел рядом.

— Помочь?

— Сиди.

Бадма посидел.

— Ну помоги, — сказал Мерген через некоторое время. — Вот тут держи. Не тяни. Держи.

Дальше они работали молча, и это было спокойное молчание, и Бадме нравилось, что дядя не разговаривает с ним, как с ребёнком, а просто говорит, где держать.

— Ночью пойду, — сказал Мерген.

— Опять?

— А чего.

— Там темно.

— Там всегда темно, — согласился Мерген. — Я привык.

Он выпутал из ячеи какую-то щепку, посмотрел на неё и бросил в воду.

— Один раз только было, — начал он.

— Знаю, — сказал Бадма.

— Ничего ты не знаешь.

— Корова.

Мерген посмотрел на него с сожалением.

— Вот и ты туда же.

\* \* \*

На покосе работали с дальнего края.

Отец сидел у копны, вытянув здоровую ногу, и вязал перевясла — это была работа, которую можно делать сидя, и её всегда оставляли ему, и все делали вид, что так вышло случайно. Женщины переворачивали сено вилами. Кто-то складывал.

Очир нёс грабли и был очень занят тем, чтобы это было заметно.

Бадма забрал у него грабли.

— Я с Джиргалой.

— У неё ноги короткие.

— Зато быстрые.

Джиргала показала язык. Очир засмеялся и отдал грабли совсем.

Бадма ворошил час. Сено было горячее сверху и сырое внизу, и когда его переворачивали, снизу шёл пар и запах, от которого чесалось в носу. Кузнечики выскакивали из-под зубьев и били по ногам. Спина у него заболела быстрее, чем он ожидал.

В тени копны стояло ведро с водой и в нём ковш. Пить ходили по очереди, и никто никого не ждал: подошёл, зачерпнул, вылил остаток обратно. Вода к полудню становилась тёплой и отдавала железом.

Взрослые разговаривали, не переставая работать, и разговор шёл кусками, потому что каждый уходил со своей полосой и возвращался. Говорили про сено, про то, что в этом году оно легче, чем в прошлом, а в прошлом было легче, чем в позапрошлом; потом кто-то сказал про сводку, и голоса сделались другие, ниже, и Бадма стал ворошить медленнее, чтобы слышать. Но взрослые говорили про сводку так, как говорят при детях: половину не называя.

Потом опять заговорили про сено.

Через час он посмотрел на брата.

— Идём.

— Нельзя.

— Трус.

Очир посмотрел на отца. Тот сидел спиной, наклонившись над перевязлом, и не оборачивался.

— Быстро, — сказал Очир.

Они побежали. Джиргала — за ними, и не отстала.

\* \* \*

Удочки лежали там, где Очир их прятал: в камышах, у самой воды, воткнутые под углом так, чтобы не видно было с берега.

Они сели.

Бадма закинул.

Тишина.

Джиргала легла животом на землю у самой кромки — земля там была тёплая сверху и холодная там, где её касалась вода, — подобрала под себя ноги и свесила голову. Косички почти доставали до воды.

— Клюёт?

— Нет.

Она заглянула в воду. Подумала.

— Рыба, — сказала она вежливо, — дай себя поймать.

Очир зажал рот ладонью.

Поплавок дёрнулся.

Бадма рванул слишком сильно, слишком рано и слишком высоко, и рыба вылетела из воды вместе с половиной лески, перелетела через них и упала где-то сзади, в траву.

Джиргала завизжала.

Дальше всё случилось одновременно. Рыба била хвостом и уходила в траву быстрее, чем можно было поверить; Бадма прыгнул за ней и упал; Очир прыгнул через Бадму и упал на него; Джиргала прибежала последней и села сверху на обоих, потому что больше сесть было некуда.

Рыба билась в примятой траве в ладони от его лица. Небольшая. Совсем небольшая.

Они лежали, тяжело дыша, и смотрели на воду.

Потом Очир начал смеяться. Сначала тихо, в землю, потом громче. Бадма тоже. Джиргала сперва сердилась, потому что упала и потому что было не смешно, а потом всё равно засмеялась, и смеялась дольше всех, и уже не помнила, из-за чего.

Рыбу отпустили. Она ушла в двух ладонях от берега и там остановилась, и её было видно, и она никуда не спешила.

Когда они вернулись, отец уже собирал инструменты.

— Где были?

— Здесь.

— Где здесь?

Очир показал рукой вокруг — на бугры, на камыш, на воду, на всё сразу.

— В Ницане.

Отец усмехнулся и ничего не сказал.

— Идите домой.

Вечером возвращалось стадо, и его было слышно раньше, чем видно: сначала поднималась пыль над дорогой, потом появлялись коровы, и в каждом дворе кто-то выходил к калитке. Пахло молоком, дымом, скотиной и нагретой за день землёй. Над дворами носились ласточки, низко, почти касаясь.

Ильмень к этому часу становился уже не белым и не серебряным, а тёмно-жёлтым, потом розовым, потом никаким.

Отец пришёл последним и долго отряхивался у двери, стоя на одной ноге и держась за косяк, и мать вышла и обмела ему спину, и он терпел это молча, потому что понимал, что иначе она не отстанет.

Ели во дворе, потому что в доме было душно.

Мерген рассказывал, как днём у него отобрали сеть.

— Кто отобрал?

— Он, — сказал Мерген и показал на Бадму. — Пришёл и говорит: помочь? А сам сел и не уходит. Я думаю: ну сиди. А он уже сеть держит. Я, значит, работаю, а сеть у меня держит вот этот.

— Ты сам сказал держать.

— Я сказал. Я много чего говорю.

Джиргала уснула за столом, сидя, с куском в руке.

\* \* \*

Ждали долго.

Их вывели ещё в темноте, и в темноте же довели до конца улицы, и там велели ждать, потому что собирали остальных, а остальных было всё село. Люди стояли с мешками. Кто-то сидел на своём мешке. Двое конвойных ходили вдоль, взад и вперёд, и от них шёл пар.

Стояли молча. Разговаривали мало и негромко, и в этом негромком было слышно одно и то же с разных сторон: спрашивали, надолго ли, и отвечали, что не знают, и через некоторое время спрашивали снова.

Кто-то забыл дома документы, и его не пустили назад.

Женщина впереди всё поправляла на ребёнке шапку, хотя шапка сидела; она поправляла её, потом опускала руки, потом опять поправляла.

Рассвело медленно и неохотно, как рассветает в конце декабря.

Бадма стоял и смотрел, как за крайними дворами поднимается бугор.

Он был белый и низкий, и снег на нём лежал не ровно, а полосами — там, где ветер сдувал, торчала сухая трава. Ходить туда сейчас было незачем, и оттуда никуда нельзя было уйти: он весь был виден, целиком, от подножия до верха, и любой человек на нём был бы виден тоже.

Бадма отошёл от матери на два шага, потом ещё на два.

Никто ничего не сказал.

Он пошёл — сначала медленно, потом быстрее, и последние шаги уже бежал, и наверху остановился и оглянулся: колонна стояла внизу и не двигалась, и конвойный смотрел в его сторону, но не шёл.

Наверху ветер был сильнее.

Здесь лежали свои. Он знал, где именно, хотя ничего не было видно под снегом; он ходил сюда с матерью каждую весну и стоял, пока она делала то, что делала, и ему всегда было немного скучно и немного холодно.

Он всегда думал, что это её место, а не его. Что сюда ходят взрослые, потому что взрослым положено, а его берут, потому что не с кем оставить.

Летом отсюда было видно всё сразу — воду, дороги, дальние бугры, стадо, если оно шло. Бадма знал этот вид, потому что бывал здесь с матерью.

Из-под снега торчала полынь.

Он сорвал одну веточку. Она была зимняя, серая, ломкая, и он растёр её между пальцами, как делают, чтобы проверить. Запах пошёл сразу — горький, сухой, пыльный, тот самый, который был здесь всегда и на который здесь никто никогда не обращал внимания.

Бадма присел и разгрёб снег ладонью.

Земля под ним не поддалась. Она была как камень. Он ударил по ней ребром ладони, потом каблуком, потом нашёл сбоку место, где ветром выдуло до самой земли и где корни полыни держали комок, и выломал его вместе с корнями.

Комок был неровный, красновато-бурый и очень холодный. Он помещался в кулак целиком.

Бадма разогнулся.

Внизу лежал Ницан. Дворы, крыши, плетни, дым из двух труб — топили ещё в двух домах, — белая полоса ильменя за дальними дворами, дорога, колонна на дороге.

— Я вернусь, — сказал он.

Он сказал это просто, как говорят «я скоро», и сам услышал, как это прозвучало на ветру: тихо и коротко.

Потом он сунул кулак с землёй в карман и пошёл вниз.

## ГЛАВА 4. КОЛОННА И СТАНЦИЯ

Земля в кулаке всё ещё была холодной.

Бадма держал руку в кармане и не разжимал её, и от этого рука затекла, а комок нагрелся только снаружи. Внутри он оставался как камень.

Колонна пошла, когда рассвело окончательно.

Их вели по своей же улице, и это было самое непонятное. Улица была та же самая, с теми же плетнями и теми же поворотами, и Бадма знал в ней всё, вплоть до того, у какого двора собака выскакивает под ноги, а у какого только лает из-за угла. Он прошёл по ней тысячу раз. Сейчас он шёл по ней в первый раз не сам.

Шли медленно, потому что колонна собиралась на ходу: у каждого двора к ней прибавлялись, и всякий раз приходилось останавливаться и ждать, пока вышедшие пристроятся. От этого получалось, что село они проходили не насквозь, а по частям, и каждая часть была короткая.

Мешки у всех были разные. У одних — большие, собранные, видно, что человек успел подумать; у других — узел из скатерти, завязанный на четыре угла. Один мужчина нёс на плече швейную машину и нёс её всю дорогу, перекладывая с плеча на плечо, и никто ему ничего не сказал.

Кто-то взял ведро. Кто-то — топор, и топор отобрали.

Двери стояли открытые.

Не все — некоторые были прикрыты, — но открытых было больше. Их никто не закрывал, потому что закрывать было незачем и потому что руки были заняты. В один двор Бадма посмотрел прямо: там на столе стояла миска, и от неё, кажется, ещё шёл пар, но с улицы этого не могло быть видно, и он решил, что ему показалось.

У третьего двора стоял старик и не шёл.

Он не кричал и не держался ни за что; он просто стоял посреди своего двора, в тулупе поверх исподнего, и смотрел на них, и было понятно, что он не выйдет. К нему зашли двое. Один что-то сказал, потом сказал громче. Старик ответил коротко.

Его вывели под руки, и он не сопротивлялся, и ноги переставлял сам.

Дальше по улице женщина побежала обратно к дому — вспомнила что-то, — и её останавливали в трёх шагах от калитки, и она стояла и говорила, показывая рукой на дверь, и говорила долго, и её не пустили. Потом она вернулась в колонну и пошла, и всю дорогу что-то держала под тулупом, хотя ничего не принесла.

Отец шёл, опираясь на костыль, и в снегу костыль работал плохо: проваливался, его приходилось выдёргивать, и от этого отец отставал. Мать шла рядом, неся Джиргалу.

Мерген нёс мешок на одном плече, перекинув его так, чтобы придерживать локтем.

Очир шёл рядом с Бадмой и молчал.

\* \* \*

У Горяевых загон был пустой.

Скотина осталась — во дворах, в загонах, привязанная и непривязанная, — и теперь по всему селу стоял звук, которого здесь никогда не бывало утром: коровы мычали не так, как мычат, когда пора на выпас, а по-другому, длинно и без остановки. Их не подоили.

Бадма старался не слушать и слушал.

Он знал по голосу, чья это корова. Не все, но некоторых знал: у Манджиевых была одна с надтреснутым голосом, её было слышно через два двора всегда, и сейчас её тоже было слышно.

В одном дворе кто-то додумался и отвязал скотину, прежде чем выйти. Ворота там стояли распахнутыми, и коровы уже вышли на улицу и топтались, мешая колонне, и конвойный отгонял их, и они отходили и возвращались.

Бадма считал дворы, сам не зная зачем. На двенадцатом сбился, потому что там жили Манджиевы, и во дворе стояла девочка, с которой они в позапрошлом году делили одно место в камышах, а потом поссорились и не помирились. Она стояла и смотрела на колонну, и было непонятно, узнала она его или нет. Потом она тоже вышла на улицу со своими.

Дальше по улице выскочила собака — та самая, из-под ворот, — но не залаяла, а побежала вдоль колонны, обнюхивая ноги, и один из конвойных отпихнул её валенком, и она отбежала и снова пошла рядом.

За крайними дворами открылось поле.

Летом там косили, и всё лето стояли копны, а к зиме их свезли, и осталась только щетина под снегом и следы полозьев. Дальше, за полем, лежал ильмень. Он был белый и ровный, и по нему шли те же полосы, что и по бугру, и камыш по краю стоял сухой, серый и совершенно неподвижный.

Бадма понюхал воздух.

Полынью не пахло. Пахло дымом, снегом и лошадьё.

Он оглянулся один раз. Бугор был уже сзади и левее, и он всё ещё был виден, и наверху ветер сдувал снег — было видно, как несёт понижу белую полосу.

Потом дорога свернула, и бугор ушёл за дворы.

\* \* \*

Их вели весь день.

Часть пути шли пешком, потом подошли подводы, и на них посадили стариков и совсем маленьких. Джиргалу мать сажать не стала — сказала, что понесёт, — и несла ещё долго, пока отец не сказал ей одно слово, и тогда она отдала девочку на подводу и шла рядом, держась за край.

Снег был неглубокий, но злой: он не проваливался, а лежал коркой, и корка ломалась под ногой с треском. К середине дня ноги у Бадмы промокли насквозь.

Отец шёл первые часа три.

Костыль был сделан под ровную землю и под дом, а не под это. В снегу он уходил вбок, и отец каждый раз доворачивал корпусом, и от этого шёл не прямо, а немного зигзагом, и на каждый шаг тратил полтора. Под мышкой у него было подложено — мать подсунула ему варежку ещё утром, — и часа через два он остановился, вынул её, переложил и пошёл дальше.

Потом остановился ещё раз. Потом сказал, что дальше поедет.

Он сказал это сам, раньше, чем ему предложили, и сел на край подводы, и не спорил.

Бадма смотрел на него и не мог понять, почему от этого так нехорошо. Отец был жив, отдыхал, всё правильно. Просто он никогда в жизни не видел, чтобы отец сам первым сказал, что дальше не может.

Мерген шёл всю дорогу.

Мешок он нёс на левом плече, и перехватить его так, как перехватывают все — быстро, двумя руками через голову, — он не мог. Ему надо было каждый раз снимать мешок вниз, ставить в снег, разворачиваться, поддевать и забрасывать одним движением, и это движение получалось не с первого раза, потому что руки не хватало, чтобы поймать мешок сзади.

Сначала он делал это раз в час. Потом чаще.

Бадма пошёл рядом, вплотную, и подставил плечо. Некоторое время они шли так. Мерген молчал, а потом всё-таки переложил мешок на него.

Один раз остановились надолго.

Люди сели прямо на мешки, кто где стоял. Мать развязала узелок и достала борцоки — она пекла их вчера, полный противень, и вчера это было просто вчера. Она посмотрела на узелок, потом на своих, и Бадма увидел, как она считает глазами.

Дала по одному.

— А ещё? — сказала Джиргала.

— Потом.

Джиргала подумала, съела свой и стала смотреть, как едят остальные.

Отец сел на край подводы, вытянув ногу, и когда пришло время идти, встать сам не смог: нога затекла, а костыль ушёл в снег. Бадма и Очи́р подняли его с двух сторон. Он не поблагодарил, потому что благодарить было бы хуже.

— Ну вот, — сказал он, отряхивая рукав. — Теперь я передвижной.

Мерген всю дорогу разговаривал.

Он разговаривал не потому, что было о чём, а потому, что молчащих вокруг становилось всё больше. Он рассказал Джиргале, что подвода на самом деле не подвода, а корабль. Потом — что лошадь зовут не так, как её зовут, а по-другому, и что настоящее имя она никому не говорит. Джиргала спросила, откуда он знает. Мерген сказал, что лошадь ему сама сказала, но по секрету.

— Врёшь, — сказала Джиргала.

— Вру, — согласился Мерген.

Кто-то из детей попросил Айсу спеть.

Она посмотрела на просившего и сказала:

— Не сейчас.

Больше её не просили.

К полудню дорога стала чужой.

Сначала Бадма знал всё: этот поворот, этот бугор, эту рощицу, этот столб. Потом пошли покосы, на которых он не бывал, но про которые слышал, и он всё ещё мог сказать, чьи они. Потом кончились и они.

Он заметил точный момент.

Это случилось не на границе чего-то, не у реки и не на перевале, а посреди ровного места, где вообще ничего не было: он поднял голову, посмотрел направо, потом налево — и не смог сказать, где находится.

Бугры здесь были другой формы. Ниже и длиннее.

Он оглянулся назад, но и сзади было то же самое.

Ближе к вечеру дорога вышла на большак, и там уже шли.

Другая колонна тянулась им наперерез и была длиннее их. Их придержали, пропустили и влили следом, и какое-то время два потока шли рядом, не смешиваясь, а потом смешались.

Люди в той колонне были такие же. С мешками, с детьми, с подводами. Женщина несла на руках ребёнка, завернутого поверх тулупа в одеяло, и одеяло было хорошее, стёганое, домашнее, и совершенно неуместное на дороге.

Говорили они чуть иначе. Не другой язык, а тот же самый, но с другим краем в словах — так говорили в сёлах ближе к воде. Бадма это слышал раньше, на базаре.

Он повернулся к Очи́ру.

— Их тоже?

Очи́р посмотрел вперёд, потом назад.

— Похоже, всех, — сказал он.

И до самого вечера к дороге прибавлялись ещё.

\* \* \*

На одной из подвод сидела старуха с медным чайником.

Чайник был без крышки, потемневший, с помятым боком. Она держала его за дужку двумя руками, на коленях, и не ставила рядом, хотя рядом было место. Когда подвода дёргалась, она перехватывала дужку поудобнее и снова держала.

Платок у неё был подвязан под подбородком туго, узлом набок, и она то и дело подтягивала этот узел, хотя он не ослабевал.

— Нас переселят и вернут, — сказала она никому. — Дом же останется.

Ей не ответили.

Она подтянула узел и сказала это ещё раз, немного другими словами, и опять никто не ответил, и тогда она замолчала и стала смотреть вперёд.

Басанг Манджиев шёл в середине колонны и считал.

Он делал это негромко, губами, и когда сбивался, начинал сначала — не всё, а от последнего запомненного места. Очки у него запотевали и замерзали, и он снимал их, протирал варежкой, надевал обратно и через сто шагов снимал опять.

— Сколько? — спросил кто-то рядом.

Басанг сказал число.

Спросивший подумал.

— А детей?

Басанг начал считать заново.

Айса шла ближе к концу. Бадма увидел её раз, когда колонна встала и подтянулась: она шла прямо, как всегда сидела, и смотрела вперёд, и лицо у неё было такое, будто она слушает что-то далёкое. Она не разговаривала ни с кем.

К вечеру Джиргала проснулась на подводе и стала звать мать. Мать взяла её на руки.

Она долго молчала, а потом спросила:

— Мы скоро вернёмся?

Мать поправила ей платок и не ответила.

Джиргала подождала.

— Мы скоро вернёмся? — сказала она ещё раз, громче, потому что решила, что мать не слышала.

Мать прижала её к себе так, что вопрос ушёл ей в воротник.

\* \* \*

Станция появилась огнями.

Сначала над горизонтом стало светлее, чем должно быть в такой час; потом стали видны отдельные точки; потом, когда подошли ближе, оказалось, что это фонари на столбах, и что их много, и что они горят все сразу, и от этого было светло, как никогда не бывало в Ницане.

Бадма никогда не видел столько света.

И столько людей он тоже не видел. Их было больше, чем на любой свадьбе, больше, чем на всём покосе, — они стояли вдоль путей плотной массой, с мешками, с узлами, с детьми на руках, и это были не только свои: там были люди из соседних сёл, которых он не знал, и говор у них был чуть другой.

Пахло углём, железом, паром и людьми.

Состав стоял такой длинный, что конца не было видно ни в ту, ни в другую сторону: вагоны уходили в темноту, одинаковые, и от этого казалось, что их бесконечно много. Вдоль путей ходили. У некоторых вагонов уже толпились, у некоторых нет.

Под ногами был не снег, а чёрная каша из снега, угля и глины, и в ней стояли лужи, не замерзающие от того, сколько людей по ним прошло.

Один мальчик, младше Бадмы, всё время задира́л голову и смотрел на фонарь, пока мать не дёрнула его за руку.

Паровоз стоял и дышал. Он выпускал пар вниз, под колёса, и пар шёл по земле и растекался, и в свете фонарей был виден каждый клуб. Когда паровоз выпускал пар, ближние вздрагивали и подавались назад, а потом становились обратно.

Кричали в двух местах сразу. Один голос читал по бумаге фамилии, другой командовал по-военному, коротко, и понять можно было только второго.

Их долго держали в стороне. Потом сдвинули. Потом опять держали.

В толпе искали своих. Люди называли фамилии вслух, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, и голоса шли поверх голов — короткие, одинаковые, повторяющиеся: фамилия, потом имя, потом опять фамилия. Иногда кто-то отзывался, и тогда в этом месте начиналось движение, и люди проталкивались навстречу друг другу.

Чаще не отзывался никто.

Мать взяла Джиргалу на руки, хотя устала, — чтобы её было видно сверху.

Рядом мужчина спросил у конвойного, куда везут.

Конвойный не ответил. Он не ответил не грубо, а никак: посмотрел мимо и пошёл дальше вдоль состава.

Мужчина постоял, потом повернулся к своим.

— Скоро тронемся. Ничего страшного.

Отец стоял, перенёс вес на костыль, и лицо у него было серое. Мать держала Джиргалу за руку, а другой рукой — Очира за рукав, и Очир не вырывался.

Бадма опустил руку в карман.

Земля всё ещё была там.

Наконец громкий голос прочёл что-то и добавил в конце:

— Большой Ницан!

Так Ницан называли в бумагах.

Бадма слышал это название и раньше — оно попадалось в разговорах взрослых, когда разговор был про контору или про район, — но никогда не слышал, чтобы его кричали.

Люди задвигались. Их стали пропускать вперёд, по несколько семей, и Басанг, оказавшийся рядом, опять начал считать, и на этот раз считал уже не людей, а вагоны.

\* \* \*

Их подвели к составу.

Вагоны были не такие, как Бадма представлял себе поезда. Он видел поезда только издали и на картинке, и там были окна. Здесь окон не было.

Это были товарные вагоны, тёмно-красные, с широкой дверью посередине, и дверь отодвигалась вбок. Вверху, под самой крышей, с каждой стороны было по маленькому отверстию, забранному крест-накрест.

Возле их вагона стоял человек и повторял одно и то же слово, показывая рукой.

Бадма стоял рядом с матерью и смотрел на вагон снизу вверх. Пол вагона был выше его пояса.

Отец держался за костыль.

Мать прижимала Джиргалу к себе.

Очир стоял рядом.

Мерген стоял рядом.

Изнутри, оттуда, где было темно, шёл запах — тёплый, густой и совершенно домашний: так пахло в загоне у Горяевых, когда там ещё стояла скотина. Навоз, солома, шерсть.

Здесь этот запах был неправильный. Он был единственным знакомым запахом на всей станции, и от этого делалось хуже, а не лучше.

Потом человек взялся за дверь.

И Бадма услышал скрип.

## ГЛАВА 5. ПОЧЕРК

Лист пролежал на кухонном столе неделю.

Алдар приезжал, работал в комнате, выносил мешки, а лист лежал где положили, и он его не убирал и не перечитывал. Один раз накрыл газетой, чтобы не запылится, потом снял газету.

В следующую субботу он взял его к окну и посмотрел на просвет.

Бумага была не старая. Он ждал, что она окажется старой — под стать конвертам и справкам, — но она была обычная, послевоенная и даже позже, с той рыхлой белизной, какая бывает у дешёвых тетрадей шестидесятых и семидесятых. Линейка бледная, машинная. Волокно короткое.

Значит, это писали не тогда.

Он поймал себя на том, что определяет возраст бумаги так же, как определял бы возраст штукатурного слоя, — и что это единственный способ, которым он сейчас умеет к этому подойти.

Буквы были крупные и стояли отдельно.

Не печатные, но и не связные: каждая выведена сама по себе, с одинаковым сильным нажимом, будто человек всякий раз заново решал, как её начать. Наклон ровный. Строка держится. Так пишут не быстро.

Алдар подумал, что видел такой почерк раньше, и не смог вспомнить, где.

\* \* \*

Открытки нашлись в среднем ящике серванта, в жестяной коробке из-под чая, вместе с пуговицами и запасными очками.

Мать хранила их без всякой системы: там были поздравления от сослуживцев, две от какой-то Татьяны Ивановны, реклама, попавшая туда по ошибке, и — снизу, стопкой, перехваченные аптечной резинкой, которая давно ссохлась и лопнула, — открытки от деда.

Он их помнил.

Дед присылал их два раза в год: на день рождения и к Новому году. Всегда с почтой, никогда с оказией, хотя ездили часто. Открытки были одинаково скучные — тюльпаны, ветка с игрушкой, самолёт, — и Алдар в детстве смотрел на картинку и переворачивал, и на обороте всегда было мало слов.

Он вынул одну наугад.

«Алдару. Расти. Дед».

Буквы были крупные и стояли отдельно.

Он положил открытку рядом с листом.

Между ними было лет тридцать, а может, и больше. Рука была одна.

Он перебрал остальные.

«Алдару. С днём рождения. Дед». «С Новым годом. Здоровья. Дед». «Алдару. Учись».

Одна была длиннее других на целую строчку: «Алдару. Приезжайте летом. Тут уже тепло. Дед».

Больше пяти слов не было ни на одной.

Алдар сидел и смотрел на два куска бумаги на столе и понимал, что не испытывает ничего похожего на открытие. Он и так знал, что коробка дедовская. Он просто не думал, что дед что-то писал, кроме «Алдару. Расти».

А в коробке лежали две стопки бумаг, исписанных этой же рукой.

\* \* \*

Он принёс коробку на кухню и снял крышку.

Читать он не стал. У него была привычка, выработанная за пятнадцать лет: на объекте сначала описывают, потом трогают, и только потом делают выводы. Сначала — что где лежит и в каком порядке. Иначе потом не восстановишь, а восстанавливать почти всегда важнее, чем понимать.

Он расстелил на полу газету и стал выкладывать.

В одной стопке были конверты. Он не открывал их, только раскладывал: штемпели, обратные адреса, надорванные и аккуратно вскрытые. Дат было много, и они были разные — он различал их по бумаге и по краске, не читая. Сорок с чем-то. Пятидесятые. Одна пачка была явно позже — конверты белее, штемпель другой формы.

Во второй стопке конвертов не было вовсе.

Там лежали сложенные листы. Разные: обрывки тетрадной бумаги, половинки каких-то бланков, оборотные стороны чего-то печатного, совсем плохая серая бумага с соломой внутри. Он разворачивал их по одному, смотрел, складывал обратно по тем же сгибам и клал в ряд.

На каждом было одно и то же имя.

Джиргала.

Дальше на разных листах было по-разному, и Алдар не вчитывался — он смотрел на строку целиком, как смотрят на кладку, не разбирая кирпичей. Где-то две строки. Где-то одна. На одном — четыре или пять, и последняя обрывалась на середине.

Он выложил их в ряд. Ряд дошёл почти до двери.

Потом он сел на пол и посмотрел на этот ряд, и первое, что он подумал, было не про имя.

Дед всю жизнь писал ему открытки по пять слов.

А здесь лежал целый ряд листов с одним именем.

\* \* \*

Дед умер в две тысячи девятом, в Элисте, семидесяти восьми лет.

Алдару было двадцать пять, он приехал на третий день и пробыл четыре. Он помнил жару, помнил, что во дворе долго стояли люди, помнил, что мать всё делала сама, быстро, не оставляя ему ничего.

И он помнил деда живым — не одним куском, а множеством: как тот сидел, как поворачивался всем телом, если окликали сбоку, как держал стакан, обхватив его ладонью снизу, а не за стенки, как в детстве учил его насаживать червя и как смеялся, когда у Алдара не получалось.

Дом в Элисте он помнил лучше, чем московскую квартиру своего детства: две комнаты, крашеный пол, тяжёлые тёмные шкафы, вечно приоткрытая форточка, запах бумаги и лекарств, и жара, которая начиналась в мае и не кончалась.

На стенах висели часы, календарь и фотография матери в рамке — та, с выпускного.

Больше ничего.

Алдар сообразил это только сейчас, на кухне, спустя семнадцать лет: в доме деда не было ни одной старой фотографии. Ни родителей, ни родни, ни свадеб, ни группы людей у мазанки, ни того, что висит в любом доме, где есть прошлое. Он никогда этого не замечал, потому что нельзя заметить отсутствие того, чего никогда не видел.

Он попробовал представить лицо своей прабабки и понял, что представить нечего.

Один раз он его спрашивал.

Это было в шестом классе, к маю: задание — расспросить старших о войне и написать в тетрадь. Половина класса писала про прадедов, у кого была фотография в форме, у кого орден.

Алдар позвонил в Элисту. Междугородний, с домашнего, мать стояла рядом и следила, чтобы недолго.

— Дед, тебе задание. Ты воевал?

— Нет, — сказал дед. — Мал был.

— А сколько тебе было?

— Двенадцать.

Алдар записал: двенадцать.

— А что ты делал?

В трубке была пауза, но короткая, обычная, такая же, как в любом междугороднем, где всегда есть задержка.

— Учился, — сказал дед.

Алдар записал: учился. Потом подумал, что этого мало, и спросил, что ещё, и дед сказал, что зимой было холодно.

Записал: зимой было холодно.

А потом дед спросил, как у него с математикой, и Алдар стал жаловаться на математику, и дальше они говорили про математику, а в конце дед рассказал, как один раз зимой на ильмене провалился под лёд по пояс и как шёл домой, и штаны у него встали колом и звенели, и он не мог согнуть ноги, и шёл на прямых, и его увидели с дороги и хохотали всем селом.

Алдар смеялся в трубку. Мать показывала на часы.

За сочинение он получил четыре. Учительница написала: «Мало конкретики».

Он знал этого человека двадцать пять лет.

И он знал Ницан.

Дед рассказывал про Ницан всегда и охотно. Про ильмень: что вода там осенью делается тяжёлая и что это видно, а объяснить нельзя. Про лебедей, которые поднимаются с шумом, потому что тяжёлые, и вода под ними бьёт, как доской. Про то, что камыш и чакан — разные вещи, и что человек, который этого не знает, разговаривать про воду не должен. Про дерево, у которого осенью ягоды вяжут рот, и как надо есть, чтобы не свело: не сразу три. Про кукушку, которую слышно с дороги, если идти к воде утром.

Про то, как ловили рыбу, и как однажды из-за одной такой рыбы они повалились в траву и не могли встать от смеха.

\* \* \*

Он попробовал вспомнить хотя бы один разговор про декабрь сорок третьего.

Ни одного не было.

Не было и уклонений: дед не менял тему, не мрачнел, не говорил «потом расскажу». Про Сибирь Алдар знал в общих чертах — как знают все, у кого в семье это было: что выселяли, что везли, что вернулись в пятьдесят седьмом. Эти сведения существовали у него всегда и неизвестно откуда, как существует знание о войне.

Но они были ничьи.

В них не было ни одного человека. Ни матери, ни отца, ни дороги, ни барака, ни имени.

Алдар всю жизнь думал, что просто не спрашивал. Теперь он сидел на кухне и понимал, что спрашивать было не о чем: в том, что рассказывал дед, не было дырки. Ницан был законченный, полный, живой и совершенно счастливый — с водой, лебедями, рыбой, кукушкой, деревом, у которого вяжет рот. Он существовал сам по себе, как существует хорошее место, и не требовал продолжения.

У него просто не было конца.

За двадцать пять лет Алдару ни разу не пришлось в голову спросить, что стало с этим местом. Так не спрашивают, чем кончилось лето.

И ещё одно.

Дед никогда не ездил в Ницан.

Алдар стал вспоминать и не нашёл ни одного раза. Ездили в Астрахань — за чем-то, к кому-то, один раз на рынок; ездили в степь; ездили на кладбище к бабушке. В Ницан не ездили никогда, хотя это было близко, ближе, чем многое из того, куда ездили.

И никто никогда не предлагал.

\* \* \*

Бумаги лежали на полу до вечера, и он несколько раз обходил их, как обходят объект.

Потом сделал то, что делал всегда, когда не понимал предмета: разложил по времени.

Слева, у стены, — то, чего не было на бумаге вовсе: Ницан. Вода, лебеди, камыш и чакан, дерево с терпкими ягодами, кукушка на дороге к воде, рыба, из-за которой повалились в траву, лёд, штаны, звенящие колом. Всё это существовало только в рассказах и не имело ни одной даты, потому что в рассказах дат не бывает: там всегда «летом», «однажды», «когда я был как ты».

Справа, у окна, — бумага. Справки, конверты, листы. Сорок с чем-то, пятидесятые, дальше, дальше.

И между ними ничего.

Он смотрел на это довольно долго и думал о нём как о разрезе.

На объекте так бывает: есть основание, есть поздняя кладка, и по всем признакам между ними должен быть слой — потому что здание не могло простоять пустым эти годы. А слоя нет. И тогда понимаешь: слой был. Просто ты пока не там копаешь.

Только здесь копать было негде.

Дед рассказывал ему Ницан двадцать пять лет и не рассказал, что с Ницаном стало.

Он подумал, кому можно позвонить.

Мать умерла в марте. Дед — семнадцать лет назад. Оставались двоюродные, которых он видел один раз, в две тысячи девятом, во дворе, и с которыми у него не было ничего, кроме фамилии и того двора.

Он нашёл в телефоне один номер, посмотрел на него и не нажал. Не потому, что было неловко, а потому, что не знал, что спросить: «Вы не слышали в семье имя Джиргала?» — и дальше что.

Алдар убрал телефон.

Потом достал из сумки рабочий блокнот.

Блокнот был кожаный, потёртый на углах, он таскал его четвёртый год: замеры, отметки по слоям, эскизы узлов, телефоны прорабов — всё вперемешку, потому что искать он умел и так. Последняя запись была позавчерашняя, про кирпич.

Он перевернул страницу на чистую и написал сверху одно слово.

Джиргала.

Посмотрел на него.

Ниже осталось пусто.

Потом закрыл блокнот и убрал в сумку.

Лист он в этот раз со стола не убрал. Только положил на него открытку — сверху, наискось, — чтобы не унесло сквозняком, когда откроют окно.

## ГЛАВА 6. ПОГРУЗКА

Их держали у вагона ещё долго после того, как прочли фамилию.

Человек со списком стоял на ящике, чтобы его было видно, и читал, и после каждой фамилии в толпе начиналось движение — люди проталкивались к нему, отзывались, потом их отводили в сторону и ставили отдельной кучкой, и кучка стояла, и её никуда не вели, и через некоторое время к ней прибавляли следующую. Читал он не по алфавиту и не по улицам, а как-то по-своему, и поэтому все стояли и слушали одинаково напряжённо, и Бадма поймал себя на том, что ждёт своей фамилии так, будто это что-то хорошее.

Потом их подвели.

Пол вагона был выше пояса, и первыми подавали детей — их поднимали снизу и принимали сверху, и они шли по рукам, как что-то, что передают через толпу, и Джиргала, которую мать сначала не хотела отдавать, вдруг оказалась высоко над всеми, повернулась, увидела мать снизу и открыла рот, но её уже приняли, и она исчезла в тёмном проёме, и мать полезла следом так быстро, как только могла, цепляясь за край и не находя опоры, пока её не втянули за руки.

Потом стали подавать вещи.

Потом полез Очир — легко, одним движением, подтянувшись на локтях, и сверху сразу протянул руку вниз, но помогать было уже некому, потому что оставались отец и Мерген.

Отец сначала отдал костыль.

Он отдал его наверх, и это оказалось самое трудное, потому что без костыля он не мог стоять, и ему пришлось опереться о край вагона грудью, и потом он повис на локтях, а нога у него была одна, и оттолкнуться ею от земли можно было только один раз, и он оттолкнулся, и его не хватило, и он сполз обратно; и тогда двое, стоявшие рядом — незнакомые, не свои, — молча взяли его под мышки и снизу под здоровую ногу и подняли, а сверху взяли за плечи и втащили, и он въехал в вагон боком, на животе, и никто ничего не сказал, и Бадма смотрел в землю.

Мерген влез сам.

Он подпрыгнул, поймал край единственной рукой, повис, подтянулся, забросил ногу и оказался внутри — и всё это заняло у него меньше времени, чем у отца, и это тоже было плохо, хотя должно было быть хорошо.

Бадму посадили последним.

Он в этот момент обернулся — не нарочно, а потому что его развернуло, когда подхватили под руки, — и увидел всю станцию сразу: фонари, пар, чёрную кашу под ногами, длинный ряд одинаковых вагонов, уходящий в темноту, людей вдоль состава, и очень далеко, за путями, тёмную полосу, где ничего не горело.

Это заняло меньше секунды.

Потом были доски, и запах, и чужие ноги, и он поехал по чьим-то рукам в глубину.

\* \* \*

Внутри было темно и уже тесно.

Он сначала ничего не увидел, потому что глаза были со света, а потом стал различать: доски, солому, узлы, людей, — и людей было гораздо больше, чем ему казалось снаружи, и они всё время шевелились, перекладывая свои вещи и себя, потому что каждый пытался сесть, а сесть можно было только если сядут все, а все не сажались одновременно.

Вдоль стен были нары в два яруса, сколоченные наспех, из свежих досок, и на них уже сидели.

Он стал узнавать.

Айса сидела у правой стены, ближе к двери, и рядом с ней были её — сноха и двое мальчишек, младше Бадмы. Басанг Манджиев устраивался напротив и уже снял очки, чтобы протереть. Старуха с чайником оказалась совсем рядом. Дальше, в углу, сидели те, кого он знал в лицо и не знал по имени, и ещё дальше — совсем чужие, из другого села, из тех, что влились на большаке.

И девочка Манджиевых была здесь.

Она сидела на верхних нарах, свесив ноги, и смотрела вниз, и, когда Бадма поднял голову, посмотрела прямо на него. Он отвернулся первым.

Их семье досталось место у левой стены, ближе к дальнему углу, и там они и сложились — мешки внизу, Джиргала между матерью и Бадмой, отец с краю, потому что ему нужно было вытянуть ногу, Очир сверху, Мерген рядом с отцом.

Разместиться всем оказалось невозможно. По-настоящему это выяснилось часа через два, когда попробовали лечь.

Люди укладывались валетом, ногами к ногам, поджав колени, и всё равно чьи-то ноги оказывались у кого-то под спиной, и это приходилось перекладывать по три раза, и каждый раз кто-то просыпался. Отцу нужно было место полутора человек, потому что здоровую ногу он не мог согнуть надолго, и он сказал об этом один раз, извиняясь, а во второй раз уже не сказал, и рядом просто подвинулись. Мерген лёг на правый бок, потому что левой рукой ему надо было отталкиваться, чтобы встать, и пустой рукав оказался сверху, и он его не поправил.

Первые часы каждая семья держалась своим куском, и было видно, где кончается одна и начинается другая — по мешкам, положенным ребром. К ночи мешки разъехались.

Тогда стали договариваться. Кто-то предложил, чтобы ложились по половине, а вторая половина сидела, и потом менялись; кто-то сказал, что дети должны лежать всегда, и с этим согласились; про стариков заспорили, потому что стариков было много. Договаривались долго и обстоятельно, как договариваются про покос, и Бадма слушал и думал, что взрослые всё-таки знают, что делать.

Потом выяснилось, что и по половине не помещается.

В дальнем правом углу была дыра в полу, круглая, прорезанная, и вокруг неё оставалось пустое место, и все делали вид, что не смотрят в ту сторону. Через какое-то время кто-то повесил там одеяло на верёвке. Одеяло было хорошее.

Наверху, под самой крышей, с обеих сторон были два маленьких отверстия, забранных крест-накрест, и через них проходил свет — два узких косых столба, в которых стояла пыль и мелкая солома.

Потом снаружи закричали, и дверь пошла.

Она шла тяжело, с грохотом, по железу, и по мере того как она шла, светлая полоса в проёме сужалась, и в этой полосе ещё были видны фонари, и пар, и спины людей, и снег, — а потом полоса стала узкой, потом совсем узкой, потом её не стало.

Снаружи чем-то ударили по железу.

И всё.

\* \* \*

Сначала попробовали дверь.

Не для того, чтобы выйти, — просто чтобы понять. Двое мужчин, стоявших ближе всех, упёрлись в неё и повели вбок, и она не пошла ни на волос, потому что снаружи её чем-то заложили; тогда один постучал ладонью, потом кулаком, и крикнул в щель, и снаружи было слышно, что там ходят, и никто не ответил; и он постучал ещё раз, уже тише, и отошёл, и сказал в темноту, что откроют на станции, и все с этим согласились, потому что другого сказать было нечего.

Потом стали замечать воздух.

Он не кончался — он просто перестал меняться: тот же самый воздух ходил по вагону туда и сюда вместе с людьми, нагревался, густел, и к нему добавлялось всё, что здесь было, — солома, овчина, мокрая обувь, дыхание людей и то, что шло из угла. Через два отверстия под крышей входила тонкая холодная струя, и все, кто оказался под ними, сначала отодвигались, а через час стали, наоборот, придвигаться, и место под отверстиями сделалось хорошим местом.

Остались два столба света под потолком, и они оказались совсем не яркие — они были яркие, только пока была дверь, — а теперь лежали на противоположной стене двумя косыми пятнами и медленно ползли, и по ним можно было понимать, что снаружи ещё день, и больше ничего; и люди сначала говорили, говорили довольно много, и в этом было что-то от станции, от общей суеты — кто где, кто с кем, у кого что, — но постепенно это стихло само, не сразу, а как стихает двор, когда все уже поели: сначала перестал один угол, потом другой, и стало слышно дыхание, и в этом дыхании поезд стоял и стоял, не трогаясь, так долго, что Бадма несколько раз решал, что вот сейчас, потому что снаружи что-то лязгало, и каждый раз ошибался, и ожидание сделалось хуже самого стояния.

В угол первым пошёл ребёнок — не Джиргала, чей-то мальчик лет пяти, и его мать повела туда за руку, и стало очень тихо, а потом кто-то с другого конца громко заговорил про сено, и ему стали отвечать так же громко, и говорили, пока они не вернулись.

Через час туда пошли уже без этого.

Старуха пошла последней и не смогла подняться сама: её качнуло, она села обратно, попробовала ещё раз и опять села. Бадма встал и подставил ей плечо. Она взялась за него обеими руками — чайник при этом остался на нарах, и она несколько раз оглянулась на него, — и они дошли, и обратно тоже.

— Хороший, — сказала она про Бадму никому.

Мать развязала узелок в темноте, на ощупь, и раздала.

Борцоков было мало. Она дала Джиргале целый, Бадме и Очиру по целому, отцу и Мергену по целому, а себе — Бадма это заметил — отломила половину и завязала узелок обратно, и по тому, как узелок лёг ей на колени, было слышно, что там ещё есть, но немного.

— Ты чего? — сказал отец.

— Я ела.

— Когда ты ела?

— Ешь, — сказала она.

Тронулись под вечер: сначала дёрнуло, и все качнулись в одну сторону, и кто-то не удержался и упал на соседа, и было несколько сердитых слов; потом дёрнуло ещё раз, слабее; потом пошло — и дальше они качались вместе, и это было первое, что Бадма понял про вагон, что здесь нельзя качаться отдельно, потому что, когда вагон шёл на стыке, все сидящие вдоль стены наклонялись в одну сторону одновременно, и он вместе с ними, и плечо матери шло влево, и плечо старухи справа шло влево, и он между ними шёл влево, и потом все возвращались; он попробовал сидеть прямо и не смог, потому что, чтобы сидеть прямо, нужно было держаться, а держаться было не за что, кроме людей.

Старуха сидела справа, держала чайник на коленях обеими руками и на каждом сильном толчке заваливалась на Бадму плечом, и каждый раз говорила: «Ой», — и выпрямлялась, и подтягивала узел платка, и через час он уже знал, что она сейчас скажет «ой», и заранее подставлял плечо крепче.

Джиргала спрашивала.

Она спрашивала в темноте, негромко, но не переставая, и вопросы у неё были не те, которые ждали взрослые. Не «куда мы едем» — это она спросила один раз и, получив «далеко», удовлетворилась. Её интересовало другое.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.